



Валентин Тублин

**ЗОЛОТЫЕ
ЯБЛОКИ
ГЕСПЕРИД**



Последний звонок

Валентин Тублин

Золотые яблоки Гесперид

«Издательство К.Тублина»

1976

УДК 82-31
ББК 84(2 Рос=Рус)

Тублин В. С.

Золотые яблоки Гесперид / В. С. Тублин — «Издательство
К.Тублина», 1976 — (Последний звонок)

ISBN 978-5-85388-093-1

Любимая многими поколениями читателей история Валентина Тублина об обычном ленинградском мальчишке, написанная в 70-е годы XX века, не теряет своей актуальности. Это повесть о школьниках, книга о настоящей дружбе, потому что только настоящий друг будет стоять под окном больницы в проливной дождь, как стоял Димкин друг Костя. Книга о первой любви, тонкой, проникновенной, необычайно трогательной. Книга о проблемах родителей и детей, о взрослении и правильных поступках, о добре и мудрости, чести и честности. Увлекая своего героя и читателя в мир гомеровской Древней Греции, автор показывает, что с давних времён талантливым открытиям предшествовала та же жажда подвига, знания и творчества, которая живёт в душах самых обыкновенных ребят.

УДК 82-31
ББК 84(2 Рос=Рус)

ISBN 978-5-85388-093-1

© Тублин В. С., 1976
© Издательство К.Тублина, 1976

Валентин Соломонович Тублин

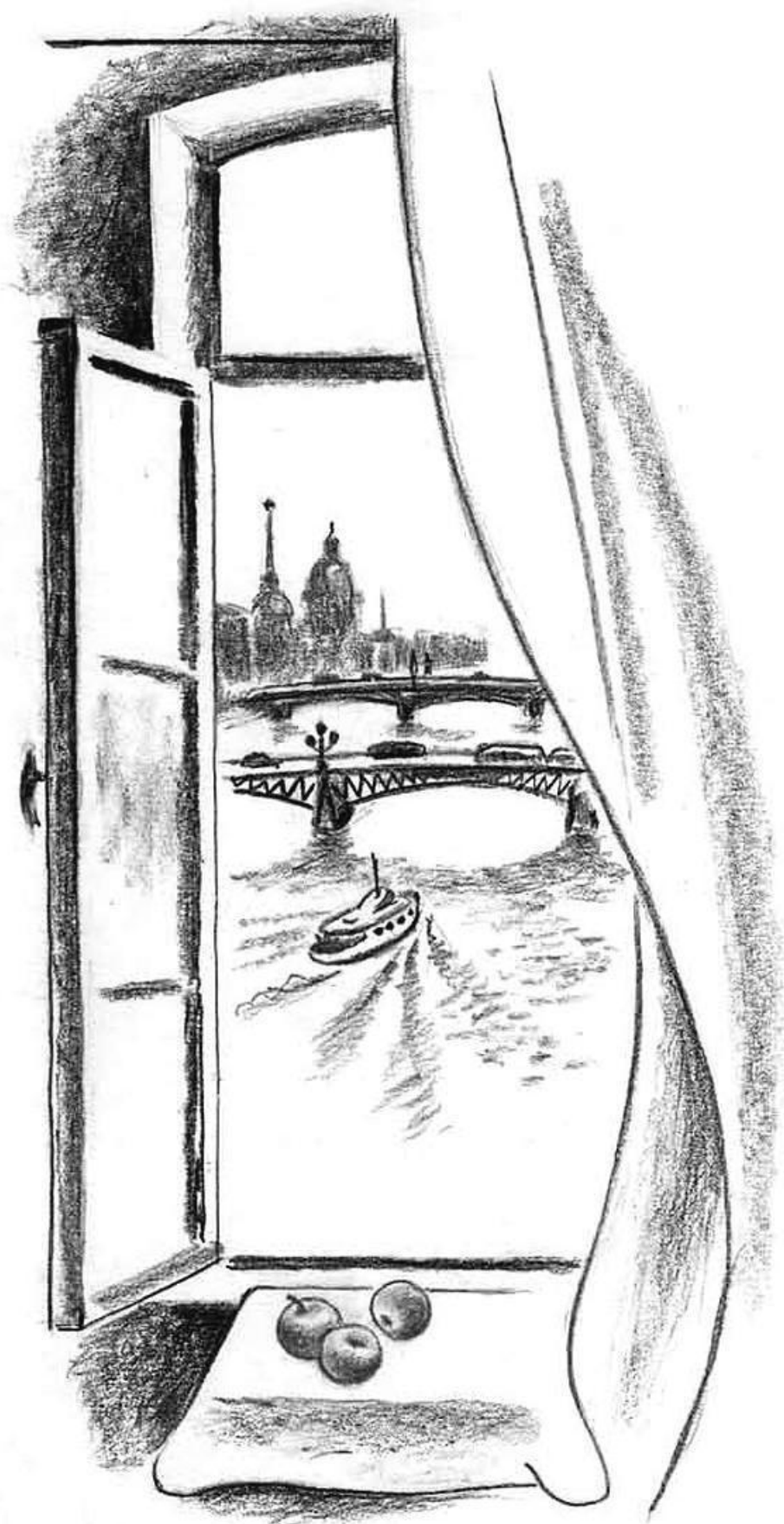
Золотые яблоки Гесперид

© В. С. Тублин, текст, 2017

© А. А. Веселов, оформление серии, 2017

© К. Ю. Швец, иллюстрации, 2017

© ГРИФ, 2017

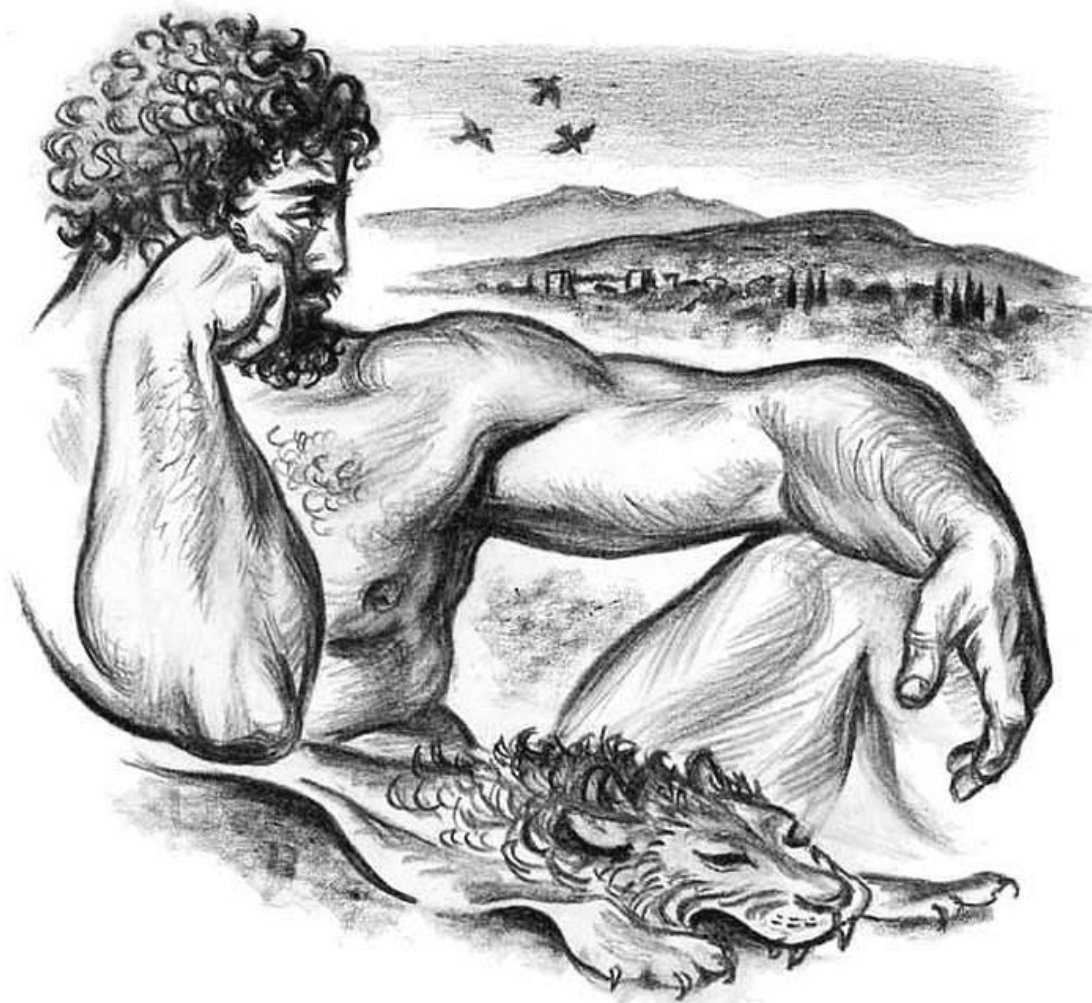


Теперь он был один. Совсем один – если не считать птиц и деревьев, солнца над головой да реки, которая бурлила и пенилась у него под ногами где-то далеко внизу. Остались позади высокие, сложенные из огромных глыб стены Микен (это титаны сложили их: простому смертному, даже ему самому, это было бы не под силу); остались позади и ворота с двумя вставшими на дыбы львицами над ними (они так и назывались – Львиные ворота), и то, что было за воротами – огромный прекрасный город с его площадью, храмами, царским дворцом, многочисленными пёстрыми базарами, с его населением – всеми этими торговцами, слугами, воинами, пастухами, с иноземцами, привлечёнными славой этого златообильного города, – всё это осталось позади. Ему не дали даже войти внутрь, где он мог бы смыть с себя пот и грязь, отдохнуть, перевести дух. Ни в этот раз, ни в предыдущие – словно он и впрямь был выкован из меди и не нуждался ни в отдыхе, ни в еде.

Ни в этот раз, ни в предыдущие. Сколько же их было? Он уже и не помнил. Он только знал – ещё, ещё немного, и боги освободят его от страшного греха. Ещё немного – потому что даже у него кончались силы.

Он прислонил свою палицу к скале, сбросил с плеч уже наполовину вытершуюся львиную шкуру и сел. Не дать войти ему в город и отдохнуть хотя бы день после того, как он прошёл полсвета за быками Гериона и столько же – обратно. Ни кусочка мяса, запах которого его преследовал до сих пор, ни куска жертвенного мяса. Эврисфей! Вот кому повезло. Вот кто был любимец богов на самом деле! Эврисфей, а вовсе не он – Геракл. На его долю приходились только труды – подвиги, как их назовут много лет спустя, а на самом деле только труд – грязь и пот, и сбитые ноги, и страшная усталость. Ни куска мяса!

Подвиги...



Было время, когда он и сам думал так. Думал, что рожден для чего-то необычного, великого, сил у него хватало. А что получилось? Эврисфей – вот кому он служит, несчастному кривобокому уродцу с больной печенью, с кругами под глазами и желтовато-зелёной кожей. Он мог бы покончить с ним одним ударом, да что ударом – щелчком. Нет, не может. Потому что он служит Эврисфею по решению богов, в том числе и того, кто, как говорят, является его отцом, – Зевса. Гераклу понятно, почему так говорят, – никому и в голову не приходит, что у простого смертного, даже такого могучего, как Амфитрион, мог родиться он, Геракл, с его необыкновенной силой, а Алкмена была так красива когда-то, что не мудрено, если на неё упал взгляд громовержца. «И всё-таки, – думает Геракл, – это всё сказки». Ибо будь ему Зевс и впрямь отцом, разве отдал бы он его Эврисфею?

Никогда.

Он сидел на земле, опёршись спиной о скалу, и жевал пресную лепёшку, просто кусок подсушенного теста, что тайком, как нищему, сунула ему в руки одна из дворцовых служанок. И на том спасибо. Он собрал все крошки-к сожалению, их было слишком мало – и аккуратно отправил их в рот. Разве это еда? Он огляделся – да, совсем один, если не считать дубины, облезлой шкуры Немейского льва, лука с полудюжиной стрел да собственной тени. Солнце поднималось всё выше и выше, так что и тень укорачивалась, и можно было предположить, что скоро и она его покинет. Подвиги! Он поднялся. Ячменная лепёшка – с неё не больно навоюешься. Он взял свою дубину, поднял с земли шкуру, отряхнул её, лук и стрелы у него так и оставались за спиной. Он вспомнил, что тетива на самой середине, там, куда вставляется

стрела, чуть-чуть размочалилась, да и ушки, по правде говоря, надо бы перемотать. Зевс! Не больно-то похоже. Он вздохнул – пока сам всего не сделаешь, никто не поможет. Сколько всего переделано – теперь очередь яблок, золотых яблок из сада Гесперид. Опять тащись на край света, причём никто не знает даже толком, куда идти – вперед или назад, влево или вправо. А ведь есть же люди, которые всё знают, в том числе и то, где находится край света, где сад Гесперид и дерево с золотыми плодами, которое сторожит никогда не засыпающий дракон, говорящий на ста языках земли. Эврисфей, например, наверняка знает, но разве он скажет... Может быть, не следовало его так ругать – как-никак они двоюродные братья... Впрочем, что об этом говорить сейчас. Яблоки, яблоки... Золотые яблоки, дарующие вечную молодость, – при всём своём равнодушии к чудесам ему хотелось бы посмотреть на такое. Не говоря уж об Атланте...

Тут он задумался. Да, об Атланте. Держать край неба! Это вам не какой-то там дракон, даже и говорящий на ста языках. Край неба... В этом, пожалуй, было всё дело. Это было по нему, это он понимал, это была работа, труд, он чувствовал в этом вызов. Атлант, брат Прометей. Увидеть его, посмотреть, как это делается... Как это можно – держать на плечах небесный свод, не минуту, не две – изо дня в день, не надеясь, не рассчитывая на замену, на помощь, на облегчение. А он, Геракл, – он мог бы? Неужели нет? Неужели есть нечто такое, чего он не смог бы, не одолел, не совершил, что оказалось бы ему не под силу?

Он уже забыл и о голоде, и о долге, неведомом пути. Он уже забыл и о яблоках. Вот в чём, значит, основное испытание, предстоящее ему, – сумеет или нет? А яблоки были только поводом. Что яблоки! Он никогда и не сомневался, что сумеет уговорить, убедить и дракона, и сестёр, и самого Атланта. Но сумеет ли он победить самого себя? Этого он не мог сейчас сказать. Этого он и знать не мог. Пока не дошло до дела, до испытания, никто не мог сказать, сумеет ли он превзойти отпущенные ему возможности, дано ли ему подняться над самим собой, превозмочь пределы человеческой природы, удастся ли в этом случае выдержать верность правилу, которым он до сих пор руководствовался в своей жизни, – делать, быть в состоянии сделать то, что делается или было когда-нибудь сделано ещё кем-то, будь то обыкновенный смертный, бог или титан...

Он уже, пожалуй, и не разбирал, куда он идёт; ноги сами несли его по тропе; и так, глухо бормоча, полный сомнений и готовности, он шёл и шёл навстречу предстоявшим ему испытаниям, с луком за спиной, палицей в руках, без страха, один, в жару и в холод.

* * *

Холод? Нет, это даже не то слово. Это просто не передать словами. Адский, просто собачий холод. Но самое странное – мне об этом много позже сказал Костя, – самое странное во всём этом было то, что никакого холода не должно было быть. Вернее, я не должен был ощущать никакого холода, потому что, сказал он, не успел он сунуть мне под мышку градусник, как ртуть бросилась вверх, как сумасшедшая, и добралась до сорока градусов раньше, чем он успел сообразить, что же происходит. Но я сам об этом судить не могу, никакой жары я не помню, а вот холод, мне кажется, я не забуду по гроб жизни, так мне было холодно, не знаю даже, как это объяснить, не просто холодно, а чёрт знает как, и мне всё казалось, что ещё немного, и у меня не останется во рту ни одного зуба – так они стучали друг о дружку. Нет, всё равно не передать. Да это, наверное, ни к чему. Наверное, ни один человек – я имею в виду здорового человека – не может до конца почувствовать и понять, что там происходит с больным, и, может, это даже и правильно, что человеческий организм защищается от всего ненужного, и если вы хотите узнать, как же мне было на самом деле холодно, вам остается только ждать, пока вы тоже заболите и вас затрясёт, и зубы у вас залязгают, и вам покажется, что вас разрезали, выпотрошили, как мумию, а затем набили до самого затылка сухим льдом – тогда и вам всё станет понятно.

И вот ещё что странно: мне кажется, что я всё помнил, помнил, как всё со мной было и что к чему, что я не терял над собой контроля ни на минуту и вёл себя, если можно так сказать, весьма достойно, а он, Костя, говорит, что он даже испугался сначала, не спятил ли я. Потому что, говорит он, я всё время нёс жуткую ересь, воображая себя чуть ли не Гераклом, и всё куда-то собирался, и уж во всяком случае каждые две минуты пробовал вскочить с постели и куда-то бежать. А он не давал, и тут, говорит он, мы с ним чуть было не подрались.

Этого, конечно, быть не могло. Не того, что я вскакивал или, скажем, говорил что-то, чего сам не помню, – раз Костя говорит, так оно, значит, и было – я о другом. Мы никак не могли с ним подраться. И не потому даже, что он на десять метров выше меня и на триста килограммов тяжелее. И не потому, что он выучил до чёртиков разных там приёмов – не каратэ, конечно, хоть он и ходит теперь в эту секцию, нет, вовсе не поэтому, а потому что я вообще против драк – принципиально, так сказать, и это самое главное. Ну а второе, что я никогда бы не стал драться с другом, будь он хоть тысячу раз неправ, а Костя – и чем дальше, тем мне ясней, что это уже на всю жизнь, – Костя мне самый первый, самый верный друг. Но вообще я страшно не люблю мордобоя, хотя знаю ребят (и в любом классе их тысячи), которые чуть что – и лезут с кулаками друг другу в нос. Но самое-то дурацкое даже не в этом, а в том, что когда они утрут, наконец, разбитые носы и выметут штанами всю уборную (а драки у нас всегда в уборной), то тогда только они начинают по-человечески разговаривать, или, как у нас называют это, толковать, то есть попросту возвращаются к тому состоянию, в котором пребывали до разбитых носов, так что даже и не замечают того, о чём надо бы думать с самого начала – что дракой ничего никому не доказали. А можно ли вообще доказать что-либо дракой? Это ведь вообще глобальный вопрос. Нет, правда, я видел в жизни тысячу драк, не меньше, но так и не заметил, чтобы кто-нибудь кому-нибудь сумел доказать что-то, разбив нос.

Но это я просто так, философское отступление. Словом, не стал бы я с Костей драться, это ясно. Но для полной ясности в этом вопросе должен одно добавить. Бывает, что и я дерусь. Тут кто-нибудь может сказать, что я выламываюсь, мол, то я не дерусь, а то дерусь. Всё верно. Потому что принципиально я не дерусь. Но если и дерусь, то исключительно из-за принципа, и лезу в драку только за дело, когда ничего другого не остаётся, когда несправедливость, и слова не помогают. Тут уже – хочешь не хочешь – надо драться, и один раз было такое дело, в Летнем саду, когда мы с Костей дрались против четырёх дураков, которые приставали к девчонкам, или нам показалось, что приставали, но это мы сообразили уже потом. Костя потом сказал, что я был похож на эрдельтерьера. Или точнее, сказал он, даже на фокса, потому что я маленький. Маленького роста, хочу я сказать.

Это был ещё один случай, когда я ничего не помнил, наверное, со страху. Не знаю даже, как это назвать.

Помню только, что перед глазами появился какой-то бурый туман, а дальше не помню ничего. Не помню, что и как было тогда в Летнем саду. Как кинулся на одного балбеса – помню, а потом – туман... А Костя говорит, что я того чуть не задушил. «Потом, – говорит, – тебя втроём оттаскивали, а то бы, – говорит, – он уже давно лежал под камешком. С тобой, – говорит, – лучше не связываться». Но я-то ничего не помню. Вполне возможно, что Костя просто разыгрывает меня, только я не обижаюсь.

Да, вот такие бывают провалы в памяти. Может быть, у меня это наследственное? И теперь не помню ничего. Кажется, я всё старался понять, откуда этот чёртов холод, и вспомнить, какое же теперь время года, может быть, я не заметил, как наступила зима, хотя я вроде бы и знал, что сейчас лето. Но летом такого холода быть не может, и тут я окончательно понял, что, конечно же, зима, вот откуда такая стужа. И не удивился, что эта зима наступила сразу после лета, не обратил на это внимания, как не обратил внимания на то, что наступил вечер. Или ночь.

И тут я понял, что я в Риге, снова в Риге, как и год назад, и тогда был ужасный холод, такой, что у меня даже глаза замёрзли. Мы были тогда в Риге все вместе – я, мама и отец; мы хотели попасть на концерт в Домский собор и долго блуждали в Старом городе, пока вышли к нему и увидели всю эту громаду, весь этот устремлённый к небу, ввысь, собор тринадцатого века, с высокими стрельчатыми окнами, забранными красивыми решётками, и что меня особенно поразило – это огромные ворота. А у самых ворот, на площади, толпился народ.

А сверху падал снег. Но не хлопьями. Снег был сухой и мелкий, и, падая, он сверкал под светом фонарей. Фонари были тоже старинные, а может быть, они были просто сделаны под старину, это неважно, и вот в свете этих фонарей лёгкий, сухой снег падал, сверкал и исчезал – я такого никогда не видел. Здорово это было, красиво, и пока я смотрел на снег, я не заметил даже, как прибывает и прибывает народ, почти вся площадь перед собором была забита народом. Кто из них были рижане, а кто, как мы, приезжие, понять было невозможно, одно только было ясно – все хотят попасть на концерт. И мне тоже этого захотелось, хотя не могу сказать, что я просто сплю и вижу – как бы мне послушать орган. Но здесь – массовый гипноз, что ли? – захотелось чуть не до слёз.

Но мы не попали.

Это был, похоже, какой-то совсем редкий концерт. Я уже говорил, что народу там собралось – уйма, и у половины, а то и трёх четвертей, как и у нас, не было билетов. Не знаю, почему. У нас их не было потому, что мы только в этот день приехали. И всё же мы могли попасть. Да, могли. Мы стояли на отшибе, в стороне от толпы, и тут к нам подошёл какой-то парень и с видом заговорщика спросил, не может ли он нам помочь. И тут они отошли с отцом в сторону.

Не знаю, о чем они там говорили, но минуты через две отец вернулся. Без парня. И без билетов. Представить не могу, сколько тот парень запросил за эти три билета, только отец сказал, что не опустился ещё до того, чтобы покупать билеты втридорога у спекулянтов...

Это я знал. Это можно было предвидеть. Не знаю только, как к этому отнестись. Правда, не знаю. Для отца это дело принципа. Он и вправду никогда и нигде не переплачивает. Он от любой вещи откажется – из принципа. Помню, маме принесли её знакомые по работе какие-то дефицитные сапоги на платформе – жуткий был скандал, даже вспоминать неохота. Да, он принципиальный. Словом, мы не попали тогда в Домский собор, потому что принципиально, как сказал отец, не стали помогать спекулянтам-перекупщикам наживаться на возросшем интересе человека к культуре.

И так мы простояли у своей стены до самого того момента, пока все, у кого были билеты или у кого не было такой непреклонной принципиальности, вошли внутрь и огромные ворота за ними захлопнулись.

А мы остались.

И вот тут-то я провалился. Нет, чуть позже. Да, позже, потому что мы успели ещё зайти в какое-то кафе – такое маленькое, что трудно в это поверить, если сам не видел. В Ленинграде, во всяком случае, я таких не видел. Три – не вру! – три столика, девять стульев – и всё. Как я понимаю, мы зашли туда просто с горя. Я, во всяком случае. Я бы, говорю честно, расстался бы с принципиальностью и, будь у меня деньги, купил бы у парня его билеты. Никто ведь не знает, почему он ими спекулировал. Может, у него крайняя нужда. Может, у него мать-старушка, или сестра-инвалид, или ещё что-нибудь в этом роде, просто обидно было бы предположить, что это совсем обыкновенный перекупщик, без всякой фантазии, и, кто знает, может быть, если бы мы купили у него билеты, его жизнь изменилась бы и потекла иначе...

Вот о чём я думал, когда мы зашли в это прекрасное кафе, и я даже не заметил, когда мы успели всё заказать – всё, что появилось вдруг на столе перед нами, – кофе и рогастики с марципаном, а маме и отцу принесли ещё рижского бальзама. Его принесли в таких маленьких рюмочках, что непонятно было, что туда можно было налить. Мне, по правде говоря, очень

хотелось попробовать, что это такое. Но не вышло. Мне дали только понюхать. Это пахло, как лекарство.



Страшно не хотелось уходить из этого кафе. На улице шёл снег и было достаточно холодно, в тридцати шагах от нас люди слушали органный концерт в старинном соборе. Нет,

в самом деле, на улице было совершенно нечего делать, а здесь, в кафе, было тепло и уютно: горел камин – настоящий камин, не какая-нибудь там электрическая мигалка, горели настоящие поленья, свет в кафе был не яркий, а какой-то приглушённый, что ли, трудно было даже понять, откуда он шёл, этот свет. И никто не торопил, не стоял уже на очереди с чашкой в руках, и тут же, прямо на стойке, светился приёмник и играла музыка. Можно было, наверное, всю жизнь просидеть так возле единственного окна и смотреть, как падает и искрится сухой снег, и мне кажется, мама тоже согласилась бы посидеть ещё. А я согласен был даже пить кофе, который мне, в общем, никогда не нравился, – и даже в этом кафе тоже, потому что из всех напитков, по правде говоря, я люблю только чай. Ну и, конечно, квас. Но я выпил бы кофе и глазом бы не моргнул, так мне было хорошо. Но отец сказал, что не затем мы приехали в Ригу, чтобы просиживать весь вечер в кафе, и ещё что Старый город лучше всего смотреть именно в такое время...

Да, жалко было оттуда уходить, из кафе. И нам принесли счёт. Его принесла молоденькая девочка в расшитом переднике – клянусь, ей и пятнадцати лет не было; она принесла счёт на деревянном подносике и, подавая его, чуть присела. И тут что-то произошло. Не знаю, как это объяснить. Словом, отец взял счёт и стал его проверять. Он всегда так делает, но раньше я как-то не обращал на это внимания, а тут мне стало не по себе. Может быть, всё это длилось минуту, а может, и меньше, только я вдруг почувствовал, что время остановилось и ни к чёрту не двигается. Меня даже пот прошиб, прямо по спине потекло. Счёт был совершенно точен. Копейка в копейку, как сказал отец. Девушка взяла деньги, положила их на свой подносик и отсчитала сдачу. И в то время как отец по всегдашней своей привычке пересчитывал её, девочка стояла и смотрела на нас, на каждого из нас по очереди, и тут впервые в жизни мне вдруг стало стыдно за отца и за эту его привычку всегда и везде пересчитывать, а он в этот раз, как назло, считал так медленно, словно от этого зависело что-то важное. И снова всё сошлось, всё оказалось совершенно точным – и счёт, и сдача, и по тому, как отец смотрит на мелочь, которая была у него в руке, я понял, что он колеблется, раздумывает – оставить какую-то часть этой мелочи на подносе или нет. Но девочка эта – я понял это позднее – уже с самого начала всё поняла и решила, так что она ни секунды не стала ждать. Не стала ждать ничего – как только увидела, что отец сосчитал мелочь, в ту же секунду повернулась и пошла. Она нисколько не конфузилась из-за того, что кругом были взрослые, подала счёт, получила деньги, отсчитала сдачу и пошла, и всем своим видом показала, что ей вовсе не нужна чья-то там мелочь. И только в самый последний момент, когда она уже почти исчезла за шторой, она повернулась. Но не совсем, а почти; и взгляд её остановился на мне. И она – нет, не скажу, что точно, но мне так показалось – вдруг взглянула, и не то чтобы усмехнулась, но словно облачко какое-то по лицу, словно тень прошла – и тут она исчезла. Это произошло очень быстро – отец ещё держал мелочь в горсти, а она, эта девочка, уже исчезла. Может быть, мне показалось всё это – улыбка, усмешка или тень, только мне расхотелось вдруг сидеть в этом прекрасном кафе. Но больше всего мне хотелось, чтобы отец убрал наконец эту мелочь и перестал раздумывать над тем, как же ему поступить.

Вот тогда-то всё и случилось. Мы вышли из кафе, настроения у меня не было никакого из-за всей этой дурацкой истории, и я не заметил даже, как мы миновали площадь и как пошли в глубь каких-то улочек, узких и тёмных, а вокруг стояли дома. Они были высокими и узкими, эти дома, с черепичными крутыми крышами, каких не увидишь уже, пожалуй, нигде, каких я никогда не видел в Ленинграде. Почти на каждом доме висела табличка, и становилось ясно, что дома стоят на этих улочках по триста, четыреста, а некоторые уже и по пятьсот лет, узкие по фасаду, с тремя, а некоторые даже с двумя окнами – вот в какое место мы попали. И мы просто шли, словно плыли по реке, сворачивая туда, куда сворачивала улочка, то забредая иногда в тупики – и тогда приходилось поворачивать обратно, то попадая в какие-то дворы, из которых вновь попадали в неведомый нам переулочек, и так мы дошли до какой-то стены. И тут я увидел

ступеньки. Они вели вниз, к двери, над которой светилась неоновая надпись – «КАФЕ», и тут я не стал дожидаться, пока мама и отец подойдут к этому месту, да и в кафе я больше не хотел; я только думал заглянуть в дверь – и обратно, хватило с меня и того кафе, возле собора. Только взглянуть, как там, в этом кафе, внутри, за дверью – и обратно, и я не стал даже спускаться по ступенькам и не подумал даже, не удивился тому, что никто не входит и не выходит из двери, я просто прыгнул вниз, минуя ступеньки, и в тот момент, когда ноги мои коснулись ледяной корочки у двери, корочка хрустнула, и я по самые колени оказался в ледяной воде. И тут же я выпрыгнул обратно. Уж не знаю, как это получилось, но вышло это именно так: прыжок, приземление и снова прыжок, как в баскетболе у кольца. Я подскочил, как мяч, и в следующее мгновение снова оказался на суше, на самой верхней кромке, откуда прыгал, и так стоял, пока отец и мама не подошли. Так что они даже и не заметили ничего: ни моего прыжка вниз, ни моего прыжка вверх, ни того, что я по колено мокрый. Они всё рассматривали эту стену и хотели понять, что она, тоже средних веков или как, и чего ради она возникла здесь, но сколько ни смотрели, никакой таблички о том, что это за памятник архитектуры, нигде не нашли. Брюки у меня стояли колом, ноги жгло, но я так был ошарашен, что когда, не найдя ничего интересного, отец сказал: «Ну что, двинем дальше?», – я тоже двинул дальше, только шаг у меня был странный, потому что поверх брюк уже застыл слой замёрзшей воды, и ноги у меня не гнулись. Тут мама почуяла что-то неладное и спросила меня, что это со мной. И я сказал: «Я провалился...»

Вот о чём напомнил мне холод. Уж не знаю, как я вспомнил об этом – в сознании или в бреду. Помню только, что я почему-то очень обрадовался и всё порывался сказать об этом Косте, который уже не звонил по телефону, а сидел рядом, и, по-моему, я даже начал ему рассказывать, но потом снова всё сместилось и я никак не мог объяснить ему, что это всё произошло в Риге, или я говорил ему, но не очень внятно, потому что сквозь дымку какую-то и холод я разглядел, что он сильно озабочен. Он стал трогать мой лоб, а потом сказал: «Лежи, лежи. Это у тебя от температуры. Ты бредишь». А потом, ещё немного погодя, снова: «Лежи, лежи». И ещё: «Нет, – говорит, – никакой сейчас зимы. Сейчас лето. Понял? Лето сейчас». И голос у него был какой-то подозрительный. Я-то уже понял, что сейчас зима, и удивился, зачем ему меня обманывать, ведь понятно, что летом всегда жарко или, по крайней мере, не так холодно, и мне стало ясно, что Костя заболел. Я же хорошо помнил, что мы были в Риге, уж тут-то никто не мог убедить меня, что там было, зима или лето, я помнил, как мы вернулись в гостиницу и мама натёрла мне ноги спиртом. А на следующий день мы снова отправились в собор. Было воскресенье, ещё не рассвело, и снег был чистым, даже без следов, в соборе никто не выступал, никакой тебе толпы, плати себе тридцать копеек в кассу, проходи внутрь, кто хочет, и ходи себе хоть целый день. Что мы и сделали. Не целый день мы, конечно, там ходили, но часа три уж точно, и красота внутри, конечно, такая, что и передать трудно. Помнится, что когда я вернулся в школу и хотел рассказать об этом, о Домском соборе, о том, как там внутри всё здорово – цветные витражи, а потолок так высоко, что просто взгляд теряется, и орган – несколько тысяч труб, хотя как он, этот орган, звучит, мы тогда так и не услышали, – нет, я ничего не смог объяснить, ничего не смог рассказать. И только когда Дрыгачёв Петька спросил: «Ну так что же там ты увидел? Как там – здорово?» – только тогда я закивал головой так, что она у меня только что не отвалилась, и раз двести, наверное, повторил: «Да, здорово». А вот что здорово и почему здорово, не смог рассказать.

И тут только, хотя и поздно, я понял, какой я, в сущности, недоразвитый и как права была Лидия, наша преподавательница по литературе, когда говорила нам, что наличие или отсутствие развитого мышления определяется тем, умеет человек при помощи устной речи передать свои эмоции другим людям или не умеет. И тут, как никогда, выходило, что никакого развитого мышления у меня и в помине нет, и вполне возможно, что по этому самому уровню я не слишком далеко ушёл от коровы. Если вообще ушёл. Я не придуриваюсь – ведь и я только

мычал, когда меня спрашивали о моих впечатлениях. Я не только эмоции не мог передать, я вообще позабыл все слова, кроме одного – «здорово», а чем это отличается от мычания? Наверное, так или иначе это с каждым бывает хотя бы раз в жизни – хочешь сказать, и весь рот набит словами, как манной кашей, и вроде начинаешь говорить – и тут же ушам своим не веришь, просто чушь какая-то, околесица, словно не сам говоришь, а во рту у тебя сидит кто-то и говорит за тебя, и вовсе не то, что ты собирался, а совсем другое. Вот этот самый показатель развитого мышления, как я тогда только понял, у меня и отсутствовал полностью, так что мне ещё предстояло когда-нибудь, если бы до этого дошло, приобретать его с самого начала. И я начал его после этого случая приобретать, но пока это приобретение ещё шло, ещё не состоялось, я применил такой метод: пока я не смогу придумывать чего-либо сам, я буду заучивать наизусть то, что придумали другие. Те, скажем, у кого это самое развитое мышление уже давно развито.

А началось это с Домского собора. Не помню точно, как это случилось. Как мне это пришло в голову. Только через несколько дней, когда мы собрались после Эрмитажа у Стёпы, у Наташки Степановой, и кто-то спросил меня: «Ну, как в Риге?» – я уже не говорил «здорово», а просто помолчал, а потом сказал, как бы в раздумье, так, словно я забыл давно и про Ригу, и про собор, а может быть, мне надоело рассказывать:

– Что?

– Так был ты в Риге или нет?

– Ну, был, – говорю.

– А в Домском соборе?

– Естественно.

– Ну и давай, – говорят мне, – рассказывай, делись впечатлениями...

– Домский собор... – начал я, тут для приличия запнулся, словно думая, какими бы это словами рассказать получше. А потом эти самые слова полились из меня, как вода из опрокинутой бутылки, потому что все эти слова уже были мною изучены, и стоило произнести одно слово, как за ним сразу тянулось другое, и так без конца. – Рижский Домский собор, – выдавал я, – один из древнейших и значительнейших памятников столицы Латвии. В его архитектурном облике, создававшемся с тринадцатого по девятнадцатое столетие, увековечено искусство лучших мастеров. Внутренность собора украшают работы каменотёсов Средневековья. Здесь можно любоваться резьбой по дереву мастеров пятнадцатого – семнадцатого веков, настенной росписью, витражами, декоративными кузнечными работами рижских ремесленников.

Сохранив свой средневековый облик, Домский собор стал в наши дни своеобразным музеем, знакомящим с различными культурно-историческими эпохами.

Широкой известностью пользуется и орган Домского собора. В тысяча восемьсот восемьдесят первом году рижская городская управа обратилась к известной музыкальной фирме в Вюртемберге с просьбой построить в Домском соборе «самый большой и самый лучший в мире орган». Фирма выполнила заказ за неполных три года и в тысяча восемьсот восемьдесят четвёртом году сдала новый орган в эксплуатацию. Он имеет пять клавиатур, сто двадцать семь регистров и шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь труб.

При постройке инструмента были использованы новейшие достижения органной техники того времени. По свидетельству специалистов, фирма действительно построила не только самый большой, но и самый совершенный по конструкции инструмент, один из лучших в мире...

Тут я остановился. Но не потому, что мне нечего было больше сказать, я мог бы и продолжить. Дальше ещё шёл текст – там, откуда я всё это взял, на конверте пластинки, которую мы купили тогда, когда были в соборе. Вернее было бы сказать – на конвертах пластинок, потому что мы купили их тогда целый набор. Не знаю даже, купили бы мы тогда этот набор или нет, если бы не огромная очередь, которая сразу же стала выстраиваться за этими пластинками

прямо на наших глазах, и тут уже, похоже, просто невозможно было не стать в очередь, раз все встали.

Что мы и сделали.

Пластинки эти, вернее, набор пластинок, – называется «Тысяча лет музыки». Вы, конечно, видели этот набор – ансамбль «Мадригал», и на всех четырёх конвертах одинаковый рисунок: стол, стул, несколько кресел, всё это, надо полагать, средневековое, на заднем плане – открытое окно, а в окне, вернее за окном, – старинный город, похожий на старую Ригу; а за столом сидят несколько человек в ужасно смешных одеждах: женщины – в платьях с буфами, а мужчины – в камзолах, пелеринах, в шляпах с плюмажем, и все играют на инструментах, которых я – да, пожалуй, уже и никто из нас – и в глаза не видел, разве что в музее истории музыки. Да, четыре такие вот повторяющиеся картинки: коричневатого-розового цвета, зелёного, голубого и жёлтого. Но главным, конечно, были не картинки. Главным было то, что на обратной стороне каждого конверта был напечатан текст, составленный разными специалистами по музыке. И вот этот-то текст – даже так: эти-то тексты – я и выучил наизусть, хотя и не знал, не был уверен, пригодится мне это хоть раз в жизни или нет.

Так что когда я замолчал, когда сказал про орган «один из лучших в мире» – это было ещё не всё, просто у меня с непривычки запершило в горле. Я мог бы и продолжить. Потому что там, на картинке, было написано ещё и про «громадный технический прогресс нашей эпохи», и про «звуки органа, мощным потоком льющиеся под стрельчатыми сводами великолепного по своей акустике зала»... и так далее – много ещё чего, до самой подписи «А. Буш». А. Буш – это была, надо полагать, фамилия того музыковеда, а может быть, и архитектора или историка, который всё знал про собор и про орган, и чью статью я так кстати выучил наизусть. Только в этом не было нужды. Я не стал продолжать и про А. Буша не сказал ни слова. Хотя и мог. Потому что надписи на других конвертах я тоже выучил наизусть, только решил попридержать это на другой раз, если понадобится.

В тот раз это не понадобилось, все и так были потрясены моей эрудицией, честно. По-моему, я и сам был ею несколько потрясён. Но я – это ещё не показатель. Стёпа, то есть Наташка Степанова, – вот кто у нас показатель, а по выражению её лица я понял, что и она поражена, и это уж было поистине поразительно. Потому что поразить, удивить её мне до сих пор не удавалось ни разу, да и никому другому, насколько я мог это видеть, – тоже. Да я, в общем, и не надеялся на это, а может быть, и не хотел. Зачем мне это? Она задавака, а я не люблю таких девчонок. Таких красивых девчонок, которые задаются, а Стёпа к тому же ещё и умная, как чёрт. Нет, всё-таки надо объяснить, что за человек Наташка. С первого раза никогда не скажешь, не заподозришь даже, что она задаётся: всегда такая вежливая, вежливей не бывает. Только мне как-то сразу стало ясно, с первого самого раза, как я увидел её у нас в кружке в Эрмитаже, что эта вежливость у неё просто как щит, что она позволяет ей не замечать того, кто ей неинтересен, или, наоборот, не показывать слишком явно, если её что-нибудь или кто-нибудь интересует слишком сильно. Это у неё такая теория. Это теория о том, что человек должен не показывать своих эмоций. Не знаю. Не согласен. Ну, это её дело, только, по-моему, это простое высокомерие.

Меня все её теории не интересуют ни капельки. И никогда не интересовали. Мне даже всё равно, к какой категории она относит меня – к той, которая ей неинтересна, или к другой. Относила – так вернее. Ничего не могу сказать, никогда она не говорила ничего для меня обидного, но мне почему-то всегда хотелось хоть раз нарушить эту её всегдашнюю ровную вежливость. Чтобы она хоть раз забыла про эмоции, про то, что их надо сдерживать. Чтобы она заплакала, что ли. А ещё я думал, что лучше всего было бы её чем-нибудь потрясти. Или просто удивить. Чтобы она от удивления хотя бы забыла про эмоции. Для этого надо было не только придумать что-нибудь потрясающе умное, но и неожиданно это потрясающе умное обнаружить, только что же это такое могло быть? Я одно время специально думал над этим,

а потом отказался, потому что её, похоже, ничем нельзя было удивить, я уже говорил, что она умная чёрт-те как. Потрясающе – иначе не скажешь. Так что я отказался. Отказался от своего намерения специально её потрясти, потому что для этого, как я понял, надо знать что-нибудь по-настоящему, знать так глубоко, как никто не знает, да ещё уметь рассказать об этом интересно.

Но тут всё случилось как нельзя лучше – в тот раз, когда я выдал весь текст с обратной стороны пластиночного конверта. Это было неожиданно и здорово, и хотя мне всё равно, но когда ты видишь, что такая девчонка, как Наташка, смотрит на тебя с удивлением, – это приятно. Не стану врать – это здорово приятно.

Только я не стал зарываться. Не стал обнаруживать глубину моей начитанности. На этот раз вполне хватало текста, написанного А. Бушем на обороте одного из конвертов, а ведь ещё три оставались у меня в запасе, а именно: и английские вирджиналисты (о которых я до этого и слышать не слыхивал), и испанская эпоха Возрождения, и немецкая музыка пятнадцатого века. Но главное, что осталось про запас, это фраза из Шекспира:

Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть изменником, лгуном,
Грабителем... Такому человеку —
Не доверяй.

Да, многое я мог в тот вечер добавить. Но не сказал больше ни слова – тогда, в тот вечер, у Наташки, когда мы, как обычно, забежали к ней всей толпой после Эрмитажа, чтобы посидеть в её комнате и послушать магнитофон с самыми сверхмодными записями.

Но меня эти записи интересовали не очень: я плохо танцую, стесняюсь не знаю как, может быть, всё из-за того, что все девчонки выше меня на полголовы, а может, потому, что я не слишком разбираюсь в джазе, – кто лучше, кто новей, кто сверхмодный и так далее... В этом отношении я отстал от всех лет на триста. Да и кроме того, меня просто всегда интересуют больше всего книги-а где ещё было больше книг, чем у Наташки... Их там было столько, что не во всякой библиотеке увидишь, клянусь, их там были тысячи. Книги были во всех пяти комнатах, книги были в коридоре, в специальных шкафах, и на полках, и на стеллажах, и во встроенных шкафах, и в проёмах – всюду и везде, где только мыслимо. И пока все ребята и девчонки бесились и изображали глубокое понимание сверхновой и сверхмодной музыки, я забирался куда-нибудь – в комнату или на антресоли – и перебирал там книгу за книгой, и так до тех пор, пока все не расходились по домам.

И в тот день, я помню, я тоже стал копаться в книгах. Только в тот раз я и не пробовал что-нибудь прочесть, просто вынимал книгу, смотрел, что за книга, и ставил на место. А сам в это время думал об одном. Об одном и том же – об этих самых словах Шекспира, о том, как он до такой мысли додумался, и о том, правда ли это, и может ли это быть на самом деле. Просто из головы не выходили эти слова. Вы знаете, как это бывает: привяжется что-нибудь – слова, строчка или мотив, – и потом можешь годами ходить, с ума сойти можешь – и никак не отделаться. «Кто музыки не носит сам в себе...» В этом надо было разобраться без свидетелей, надо было подумать самому, наедине с собой. Мне стало страшно. Я подумал: «Ведь выходит, что каждый из нас таким образом может стать мошенником. Ну, почти каждый». Почти. Потому что Наташка Степанова, Стёпа, конечно, нет, и хотя я не мог поклясться, не мог дать голову на отсечение, что у неё с этой самой гармонией в душе полный порядок, но, конечно, ни грабителя, ни лгуна, не говоря уже об изменнике, из неё не получится.

Вот о чём я думал в тот раз. Я сидел в какой-то из комнат, где до потолка высились полки с книгами, а по стенам висели картины – но не как в музее, не в тяжёлых и важных рамах с

золоченой бронзой и, уж конечно, не репродукции, от одного взгляда на которые начинают болеть зубы. Это были странные картины, масло, акварель, графика, просто окантованные или закрытые стеклом. Больше всего там было натюрмортов – цветы, цветы, цветы. Но мне запомнилось другое: человек с листком. Да, странный человек со странным листком. Он сидел за столом, но, может, это был не стол. И книги – толстые книги, одна на другой, старинные, я думаю, книги, с пергаментными листами и переплётami из бычьей кожи, а сзади, за человеком – не то решётка, не то переплёт старинного окна, хотя и совсем другого, чем на конвертах к пластинкам «Тысяча лет музыки». Но этот человек и не имел отношения к музыке. Во всяком случае, об этом ничто не говорило, никаких инструментов рядом с ним не было. Только несколько книг и ещё какие-то листки – может, он был писатель? Или философ? Книги и листки, а за спиной не то решётка, не то окно, за которым виднелись горы. Они даже не виднелись, это неправильно, неточно. Они угадывались. То есть они не были прорисованы прямо, но было совершенно ясно, что если выйти из комнаты и из этого дома, то попадёшь на дорогу, она будет виться и виться вдоль реки, которая тоже, хотя и не была прорисована, угадывалась совершенно точно, и они – дорога и река – будут уходить и уходить, пока – если вы идёте по этой дороге – вы все вместе, река и дорога, и тот, кто пойдёт по ней, не окажется в ущелье. А слева и справа от вас будут горы – те самые, о которых вы догадывались, когда ещё были в той комнате с решётками, когда ещё и не выходили никуда, а может быть, вам оттуда никогда и не выйти. Да вы всё равно знаете об этом – о дороге, реке и горах, как знал человек, который сидел за столом, или что там было. У него было странное лицо, будто составленное из множества плоскостей, и если вы смотрели на него прямо, то и он смотрел прямо на вас – и тогда у него было одно лицо, но если вы заходили чуть сбоку и начинали смотреть на него под углом – лицо этого человека менялось, и сколько бы раз вы ни начинали смотреть на него под разными углами, каждый раз вы видели нового человека. И выражение его лица тоже было новым каждый раз. Оно менялось – от приветливого и добродушного до гордого, замкнутого и даже высокомерного. А то вдруг становилось таким печальным, таким одиноким, что у меня начинало щипать в носу, и казалось мне, ещё секунда – и я заплачу.

Да, вот такое лицо – текучее и изменчивое, как вода, А в руке – листок, не бумажный, как вы понимаете, – не то кленовый, не то дубовый листок, и он держит его за черенок, и смотрит на него сам, и в то же время показывает, а что это всё значит – убей, не пойму. С ума сойти можно – так мне нравился этот рисунок и этот человек, Я чувствовал, что в этом есть какой-то смысл, какой-то шифр, и если знать его, этот шифр, или разгадать, раскрыть, то узнаешь что-то очень важное. Я мог бы, мне кажется, полжизни просидеть у такого рисунка. И знаете, – если смотреть не отрываясь на него, на этого человека, то возникает такое ощущение, что ещё, ещё немного – и он заговорит.

Но в тот раз – как, впрочем, и в предыдущие, проверить это не удалось. Потому что вернулись Наташкины родители, и мы разошлись по домам. Но здесь надо сказать вот что: не надо представлять это так, что вот они пришли – и тут мы все сразу кинулись к вешалке. Ничего подобного. Этого не было никогда. Я уже говорил, что Наташка – отличная девчонка, умная, красивая, хотя, по моему мнению, и задаётся. Но родители у Наташки мне нравились всегда ещё больше. Клянусь, я таких не видел. Вот уж кто не задавался ни капельки. А ведь могли бы. Они, Наташкины родители, – ужасно важные персоны: отец – академик, а мама – доктор каких-то наук, не то она физик, не то химик, никогда не мог запомнить. Можно было бы, при желании, конечно, и задаваться. Вон у Маркуши, у Витьки Маркушина в нашем классе, отец – инженер-строитель. Но попробуй к ним прийти, когда он дома, – даже кашлянуть, и то нельзя. Да что говорить! Это всем – и вам в том числе – известно: есть миллионы взрослых, к которым и не подойти, такие они важные. То есть я хочу сказать, что и через тысячу лет ты всё равно будешь для них ребёнком. Даже если тебе уже не десять лет, как когда-то, а пятнадцать или шестнадцать – всё равно ты для них ребёнок, а ребёнок для них – всё равно глупый, и твоё

дело только слушать, что они, взрослые, тебе говорят. Слушать, восхищаться и исполнять. А твоё мнение их нисколько не интересует, как если бы ты был не человек, а консервная банка. Вот это и есть во взрослых самое обидное. То, что тебя и в четырнадцать, и в пятнадцать лет никто не принимает всерьёз.

Вот почему мне просто до обалдения нравились Наташкины родители. То есть я не хочу сказать, что мы там сразу становились взрослыми. Всё было иначе. Так, как и должно, по-моему, быть. Они, Наташкины родители, конечно, оставались взрослыми, а мы – сами собой, но мы никогда не чувствовали никакого к себе снисхождения, никакого сюсюканья и заигрывания. Просто мы были как две страны, одна – большая, а другая – маленькая, но обе страны имели одинаковые права и одинаковые обязанности. Да, они никогда не относились к нам свысока потому только, что были взрослыми, и всегда, когда бы мы ни пришли, и мама её и отец не забывали заглянуть к ней в комнату, где ребята сходили с ума от самых новомодных записей. И по тому, как Наташкины родители расспрашивали нас о наших делах – эрмитажных, школьных и домашних, – было ясно, что все эти наши дела им действительно интересны. А если начинался какой-нибудь спор – а где это видано, чтобы восемь или десять человек собирались вместе и не спорили, – если начинался спор и при этом были Наташкины родители, то никто из них не говорил никогда: «Нет, Дима, ты неправ, ты ошибаешься», – а всегда так: «Мне кажется, что один из нас допускает ошибку». И тут спорщики не пытались силком переубедить друг друга, а просто старались, вынуждены были искать подтверждение своей правоты и лезли либо в справочники, либо в словари или в энциклопедию и выясняли истину. Помню, как Костя заспорил однажды с Наташкиным отцом. Они спорили о Коктебеле, о том, кому принадлежало поместье, где сейчас вырабатывают шампанское. Наташкин отец говорил, что Воронцову, а Костя – что Голицыну, и поскольку никаких справочников по Крыму под рукой не оказалось, ничего выяснить не удалось. Но через неделю, когда мы снова оказались у Наташки, вошёл Иван Иванович, её отец, и сказал Косте: «Я приношу вам свои извинения. Вы были тогда совершенно правы».

И тут я увидел – в первый раз, – как может человек покраснеть. Краска стала подниматься у него откуда-то со спины, и он всё краснел, а все кругом смеялись, – но не со злостью, как это бывает, когда все друг другу враги, а добродушно, и не потому вовсе, что Наташкин отец, хотя он и академик, может знать меньше одного из нас, а потому, что никто из нас и подозревать не мог, что Костя может так смущаться. Нам-то казалось, что если кто и не смущается никогда и ни от чего, то это как раз он, и просто удивительно было, что он, наш староста, староста нашего знаменитого эрмитажного кружка...

Не знаю, чем бы это кончилось – вполне может быть, что Костя вдруг вспыхнул бы и сгорел, но тут заглянула Наташкина мама и сказала: «А самовар кипит. Давно уже. Вы что, не хотите чаю?»

И мы повалили на кухню.

Кухня в этом доме была огромной, как футбольное поле. И всегда там кипел самовар – всегда, когда бы вы ни пришли. Я говорю про самовар вовсе не потому, что это какая-то невидаль. У нас, к примеру, дома тоже есть самовар – маленький электрический самовар литра на полтора. Но этот самовар был не электрический. Он был самый настоящий, на углях – на лучине и древесном угле, и входило в него воды, наверное, ведро. Я сам видел, как его разжигали, это делала всегда Наташкина бабушка, весёлая такая старушка, она разжигала его, раздувала, а потом ставила сверху самую настоящую трубу, и самовар гудел, как заводской гудок. Вот из этого-то самовара мы и пили чай каждый раз перед тем, как разойтись по домам, а нас собиралось там до двадцати человек. Это было уже как ритуал, и было это очень здорово, словно мы одна семья, в которой двадцать человек детей, и тут можно было только позавидовать тем, у кого были дома братья и сестры, потому что ни у меня, ни у Кости, ни у кого из тех, кого я знал, не было их. Не было ни братьев, ни сестёр, и не с кем было сидеть вот так у

самовара и чувствовать, что вы все – это одно, что вы друг другу родные, и в случае чего, все – один за одного. И думается мне, что не только мне одному приходило это в голову, только на такие темы у нас говорить не любят. Строгий народ.

Иван Иванович, Наташкин отец, тоже, по-моему, думал об этом, потому что не раз, садясь за стол, говорил, глядя на нашу банду: «А что, хороша у нас семья, хороша?», на что Наташкина бабушка отвечала совсем по-старому: «Ну и слава богу».

Да, повезло Наташке, во всём повезло. Но отец у неё был просто высший класс. Никогда не видел, чтобы человек мог выпить столько чая. Он, наверно, один мог выпить весь самовар. Он утверждал, что если выпить за день пять – шесть стаканов крепкого чая, то и забыть забудешь, что такое болезнь. Я думаю, что это он шутил. Другое дело, что я сам не свой до чая, и между нами всегда шло как бы соревнование, в шутку, конечно, – кто первый сойдёт, так сказать, с дистанции. Первые три стакана я держался на равных, а потом, конечно, отставал, мне до него было далеко. Но кто иногда побеждал – это Наташкина бабушка. Она никогда не торопилась и пила чай с блюдечка. И вприкуску – иначе она чая не признавала. Подует на блюдечко – и выпьет. И ещё. И ещё. Так что, может быть, Наташкин отец и знал, что говорил. Старушке было уже за восемьдесят, трудно даже представить, сколько это, а она была такая живая, просто молодец. Но я-то не хотел бы столько жить. Мне кажется, что надоест. Всё уже видел. Всё знаешь. Ничего уже нового с тобою случиться не может...

В тот день мы тоже собрались на кухне. И тут Наташка говорит: «Папа, вот Димка только что из Риги».

А он: «Так, – говорит. – Очень интересно».

А Наташка: «Димка, – говорит, – расскажи ещё раз про Домский собор».

И тут я понял, что значит краснеть. Как Костя краснел когда-то. У меня даже дыхание остановилось, и краска стала подниматься даже не со спины, а, по-моему, от пяток. Ведь Наташкин отец сразу понял бы, откуда у меня такие знания, понял бы, что я просто зазубрил наизусть текст с конверта. И тут произошло чудо. Я уже было раскрыл рот, чтобы снова начать всё сначала, и вдруг поперхнулся. Может быть, бог всё-таки есть? Я чуть не умер там за столом, так что пришлось даже выйти из кухни и отдышаться, а когда вернулся, никто уже о Риге не вспомнил. На этот раз я соревновался с Наташкиным отцом до конца. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но в горле у меня пересохло, как в пустыне. Не успевал я выпить один стакан, как тут же подвигал его снова к самовару... Жуткая была жара, пот тёк с меня не ручьями даже, а рекой, и всё вокруг дышало зноем. С каждой минутой мне становилось всё жарче, и я всё пил и пил и никак не мог оторваться.

* * *

Никак. Он стоял на коленях в мелком речном песке, вода была прозрачной и холодной, ибо она текла с гор. Солнце стояло в зените, и все его лучи, казалось, были направлены на него, и пот стекал с него вместе с мелкой дорожной пылью.

Здесь и нагнал его вестник.

Это, похоже, был один из дворцовых слуг Эврисфея, смыслённый на вид парнишка. Волосы у него были всклокочены, одет кое-как, но быстр на ногу – наверно, потому он и послан был вослед Гераклу. И он нашёл его.

По правде говоря, это было совсем не трудно, – Эврисфей попросту указал ему место, куда он должен бежать и где должен был настигнуть героя, – и теперь он с восхищением смотрел на огромную фигуру Геракла, на могучую спину, склонившуюся над чистой речной водой, на палицу из ствола оливкового дерева, которая валялась на песке, рядом со шкурой, луком и стрелами в потёртом заштопанном колчане. Таких луков мальчик тоже не видел никогда – из двух рогов антилопы, каждый – два с половиной локтя, с искусно сделанной костяной вставкой

между ними; на кончике каждого рога был укреплен медный крючок с прорезью для тетивы, а сама тетива была сплетена из скрученных вчетверо воловых жил.

– Меня прислал к тебе Эврисфей, благородный царь Микен, – сказал мальчик, не спуская взгляда с чудовищного лука. Но Геракл, похоже, не слышал его, и тогда мальчик вспомнил, как во дворце, посмеиваясь, говорили о том, что Геракл оглох, разучился говорить в своих бесконечных скитаниях, что он едва ли не утратил уже человеческий облик, и стоит ему только разучиться говорить, как он станет неотличим от животных. «Не подходи к нему слишком близко, – такой совет получил он, отправляясь. – Прокричи ему издалека то, что поручил тебе царь, и беги обратно со всех ног, а то как бы он тебя не раздавил, не заметив даже, кто ты».

На всякий случай мальчик и впрямь отступил на шаг и снова выкрикнул громким голосом:

– Я послан к тебе, о Геракл, чтобы сообщить волю благородного царя Микен Эврисфея...

– Ну так и сообщай, – сказал Геракл и обернулся. Мальчик даже не заметил, как он успел подняться. Движение было молниеносным и бесшумным, Геракл поднялся с песка мгновенно и теперь смотрел на застывшего от неожиданности мальчишку, вытирая влажные губы. – Что там ещё случилось с твоим благородным царём?

– Он велел передать, что меняет своё первоначальное распоряжение.

– Я иду за яблоками, – сказал Геракл. – Он приказал мне достать их. Золотые яблоки из сада Гесперид. Ты слышал что-нибудь про это, малыш? Золотые яблоки, дающие вечную молодость. Край света, Атлант, сестры Геспериды, бессонный дракон – разве этого мало твоему благородному царю?

– Я не знаю, – сказал мальчик. – Мне было приказано разыскать тебя и сказать, что дело с яблоками может подождать. Он, то есть благородный царь Микен Эврисфей, велел передать тебе, чтобы ты спустился в царство мёртвых и привёл ему оттуда Цербера. Ну вот, я и выполнил поручение.

– Ладно, – сказал Геракл. – Мне ведь всё равно. Цербера так Цербера. Есть хочешь?

– Очень, – сказал мальчик. – Знаешь, я с утра не ел, а сейчас уже, наверное, полдень.

Геракл взглянул на небо.

– Половина первого, – сказал он.

– Вот это здорово, – сказал мальчик. – Как это ты?

– Научился, – сказал Геракл. – Точное время всегда необходимо знать. А что, великий учёный Эврисфей не научил ещё вас этому?

– Но ведь ты-то не ходишь в нашу школу.

Геракл засмеялся.

– Не только Эврисфей умеет определять время по солнцу, – сказал он. – Значит, ты из его школы. Знаменитая школа, везде об этом говорят. Учиться интересно?

– Когда как, – сказал мальчик. – Да ты ведь сам знаешь, только делаешь вид. Нет, – признался он, – конечно, интересно, только больно много всяких слов. И тогда становится скучно – ты давно уже всё понял, а тебе всё ещё разжёвывают.

– Ну, а спорт?

– Какой там спорт, – вздохнул мальчик. – У нас даже хорошей спортплощадки нет. Просто погоняем иногда мяч или начнём бороться... – Он посмотрел на Геракла. – Послушай, – сказал он. – Согни, пожалуйста, руку. Вот так, да.

Геракл согнул. Мальчик попытался обхватить его бицепс всеми десятью пальцами – и не мог.

– Вот это да! – прошептал он. У него самого под кожей ничего не вздувалось, сколько бы он ни напрягался. Он не был слабаком, вовсе нет, а бегал и прыгал он вообще лучше всех, но если бы он имел такие бицепсы...

И он вздохнул.

– Пойдём в тень, – сказал Геракл. – Ну и печёт...

Они нашли небольшую пещеру – там, где речка делала поворот, у высокого берега. В пещере было уютно и совсем не чувствовалась жара. И река шелестела – слышно было, как она перекачивала мелкие камешки.

– Пора подкрепиться, – сказал Геракл и достал из огромной сумки целую оленью ногу. – Я-то люблю есть холодное мясо, но тебе я поджарю.

– Я тоже хочу есть холодное мясо, – сказал мальчик. – Как ты.

– Нельзя, – сказал Геракл. Голос у него был совсем не грубый, как этого можно было бы ожидать, наоборот, такой глубокий и мягкий. – Маленьким мальчикам, вроде тебя, опаснее всего есть всухомятку. Наживёшь язву желудка – и всё для тебя пропало. – Он повертел оленью ногу, понюхал. – Свежая, – сказал он, – закоптили три дня назад. Нет, пожалуй, четыре. Пришлось за неё полдня чистить коровник, я же теперь по этому делу специалист. Специалист по чистке коровников и конюшен. Еле потом отмылся.

– Никогда бы не стал чистить конюшни, – сказал мальчик.

– Ну, это ты зря. Должен же кто-то это делать, – сказал Геракл. – Работа как работа. И оленья нога в придачу.

От поджаривающегося мяса потянуло таким вкусным запахом, что приходилось то и дело сглатывать слюну.

– А что сделали с моими быками?

– С быками? (Скорей бы прожарился этот кусок!)

– Ну да. С быками Гериона. Я же пригнал этих проклятых быков чуть ли не сотню.

– А! Ты про этих. Часть – ту, что похуже, – принесли в жертву. Ты знаешь, их сжигают целиком. Другую часть Эврисфей велел забить и отправить на склады. Несколько быков зажарили и угостили народ – было объявлено, что это искупительная жертва за твои грехи. А самых породистых царь велел отвести к пастухам в стадо. Он хочет скрестить их с местными коровами и вывести новую породу.

– Узнаю вашего великого царя, – сказал Геракл. – Даже великих богов хочет он обмануть. Новая порода коров... Ну ладно, – сказал он, потрогав мясо. – Снимай. Только не торопись, здесь хватит.

Такого мяса мальчик в жизни не ел. Такого вкусного. Сок из него так и брызгал. Мальчишку даже в жар бросило. Ему казалось, что он мог бы есть это мясо не переставая.

– Вкусно? – спросил Геракл.

Мальчик только замычал.

– Вот и хорошо. Ты ешь, ешь.

Наконец он съел всё. Некоторое время они молчали.

– А как тебя зовут? – спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблескивали в полутьме, как у кошки.

* * *

У меня прямо кошки заскребли на душе от этого вопроса. Этого я и боялся, боялся больше всего. Я не мог сказать ему своего настоящего имени, не мог сказать, что меня зовут Дима, потому что он сразу понял бы, что я не тот, за кого я себя выдаю, и обман раскрылся бы сразу. Он сказал бы: «А, это ты», – встал бы, взял бы свою дубину и лук, колчан со стрелами и шкуру и ушёл, растворился, исчез, не сказав больше ни слова. Потому что я никогда не верил в мифы, никогда не верил в существование героев. «Это чепуха, – говорил я всегда, – все эти мифы – это сказки для малышей, чтобы заинтересовать их изучением истории, а взрослым, таким, как мы, в восьмом уже классе, нечего забивать себе этим голову». Не стоит даже тратить на все эти сказки для малышей время, запоминать не существовавших героев, совершавших

не существовавшие подвиги, иное дело – историческая наука, чистые факты, подтверждённые разными там авторитетами. А мифы – это липа, надувательство и обман. Тут-то мы всегда и сцеплялись с Костей, который был просто помешан на истории, на истории и всяких историях об истории, и который говорил всегда о разных там подвигах и приключениях так, словно он сам там был, словно только что вернулся с аргонавтами из плавания за золотым руном. Да, это было удивительно – то, что Костя верил этим мифам и древнегреческим легендам, и что бы я ни говорил ему – стоял на своём, как бревно. Это меня жутко поначалу раздражало, я думал даже, что это он, Костя, нарочно, чтобы позлить всех, или от упрямства, но потом понял, что он действительно так думает, действительно верит во всё, – и махнул на него рукой. Но сам я все эти выдуманные древними людьми истории не ставил ни во что. Детские сказки – вот и всё. Да и ему самому, Косте, я так и говорил под конец любого нашего спора.

– Признай, – говорю, – что это просто сказки.

А он:

– Ну хорошо, сказки. Но от чего-то они отталкивались. Что-то они имели в виду.

– Да пойми, – говорю, – это всё устные предания. Тогда и письменности не было.

– Да ведь мы ничего не знаем о письменности – была она или нет. А у шумеров – была письменность или нет? А у древних египтян? Во времена, скажем, первой династии. Или ещё раньше. А Шлиман? – говорит. – Как насчёт Шлимана?

– Что, – говорю, – насчёт Шлимана?

– А вот то самое. Он поверил Гомеру и разыскал Трои. Разыскал или нет?

– Так то, – говорю, – совпадение. Понял? Совпадение. Счастливый случай. Ненаучно это. Вопреки науке.

А он:

– Научно или нет – а раскопал Трои. Да или нет?

Не было никакого смысла с ним спорить. Не понимал я его. Очень долгое время не понимал, чего он такого нашёл во всём этом. Я имею в виду историю. Не видел я в этом особого смысла, честно говорю. Ведь что было, то было, изменить ничего нельзя. Тогда какой интерес? Какая кому польза от этой истории? Нет, я в этом его сумасшествии никакого смысла не видел. Ну была у меня пятёрка по истории – что ж из того? Это же нехитро. Выучить все даты, нарисовать контурные карты, вычертить стрелками маршруты походов. Просто учёба – и всё. Но мифы... Помню, я спросил об этом отца. Я спросил его, что такое мифы, но он и разговаривать со мной на эту тему не стал. Он отослал меня к энциклопедическому словарю, потому что, добавил он при этом, надобно всегда искать точные знания там, где они находятся. Пить, так сказать, из чистых источников знания. Да, он у меня человек именно такого склада – может быть, потому, что всю жизнь ему приходилось учиться заочно. Вот почему он и сказал: «Мифы? Возьми на полке второй том энциклопедического словаря. Только не забудь поставить его на место».

Так я и сделал. Взял второй том словаря и там, на странице триста девяносто шестой, между словами Миус (река на Ю. – В. Укр. ССР) и Миха Цхакая (Ахал-Сенаки, город, р. ц. Груз. ССР) нашёл:

«Мифы – сказания, в к-рых получили отражение примитивные представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы и общественной жизни. Значит, роль в мировой литературе сыграли М. древних греков. В разговорной речи М. часто называют всякий вымысел, недостоверный рассказ».

Вот что там было написано, в справочнике. В чистом, так сказать, источнике знания. Слово в слово. «Примитивные представления древних народов» – и больше ничего. Пустое, всё пустое. Вымысел – это не что иное, как просто враньё. Говорил ли я об этом Косте? Само собой. Но тот, кто думает, что его можно смутить такими вещами, ошибается. Говорю, он помешался на истории. Знаете, что он сказал? Что когда-нибудь, много лет спустя, про энциклопедический

справочник нашего времени тоже напишут: «Примитивное представление древних народов». Можно с ним спорить? Нет. А может, и не нужно. Это я понял позже – не надо с ним спорить. Потому что, понял я, он должен так говорить, и верить должен тоже. Если он собирается стать археологом – а он собирается стать именно археологом, – он должен верить мифам, как верил им Шлиман. Ему нельзя, просто нельзя не верить, если он хочет стать знаменитым археологом, найти золото инков или чего он там хочет найти. Но я-то не собираюсь становиться археологом и поэтому не обязан верить во всякие примитивные представления.

Если сказать честно, то, может, кого-нибудь удивит то, что я собираюсь делать доклад о Гомере. Но это совсем другой вопрос. Это просто так получилось, даже и вспоминать не хочу, как это получилось, гнусная история – нет, не буду вспоминать или вспомню когда-нибудь потом, когда всё совсем забудется, а сейчас это не относится к делу. Могу только сказать, что из-за этого доклада мне пришлось прочитать сто тысяч книг, где миллионы учёных со всего света спорят о Гомере, и все эти книги показывают, что вся история покрыта мраком. Даже такой вопрос, который, казалось бы, ясен как день. Я ещё расскажу когда-нибудь подробнее обо всём этом, а пока скажу только вот что: мифы? Не поверю никогда. Потому что из всех этих учёных до сих пор никто не знает точно, где родился Гомер, или сколько он прожил, или в какие точно времена жил, да что там – до сих пор они не могут просто договориться по вопросу – а был ли Гомер вообще. Вы поняли? Вообще был ли он, то есть существовал ли такой человек из плоти и крови, просто человек, которому можно было сказать: «Послушай, Гомер, не знаешь ли ты...», ну и спросить его о чём-нибудь, о том, скажем, как идут дела с «Одиссеей» или придёт ли он завтра на собрание у дворца, а он обернулся бы и сказал: «Не знаю. Посмотрю, как пойдут дела». Теперь вам понятно? Учёные, тысячи учёных, профессора, академики даже. Да, и академики – в шапочках таких чёрных – спорят и спорят до хрипоты. Был Гомер? Был. Нет, не был. Нет, был.

Что ж тут говорить о мифах, о героях всяких, о Геракле и о Тезее, о Елене Прекрасной? Может быть, тогда и Зевс был? И Венера?

И только одно смущает меня всегда. Этот самый Шлиман. Да, я же сам говорил – совпадение. Совпадение то, что он открыл, раскопал, нашёл Трои именно там, где говорил о ней Гомер, хотя это была и не та Троя. Но открыл, открыл. И ещё: но это уже о Гомере. Всё-таки неясно одно. Ну, был Гомер. Ну, не было его. Но книги-то есть! «Илиада» и «Одиссея». Откуда-то они всё-таки взялись. Я не знаю, как пишутся книги, но ведь не из воздуха они берутся. Кто-то должен сесть – за стол или за пень, или делать это стоя или лежа, – но кто-то ведь должен вывести сначала первую строчку, потом вторую, третью, сто девяносто четвёртую – а в «Илиаде» их больше десяти тысяч. Нет, что-то во всей этой истории есть, не отрицаю, но я не хочу ломать голову над вопросами, на которые и через тысячу лет никто не сможет ответить, и через две, а может, и через три; как только я начинал об этом думать, мне сразу становилось дурно, голова у меня кружилась, мне становилось жарко – да, самый настоящий жар начинался у меня, как сейчас, и тогда мне начинала мерещиться всякая чертовщина, и, чего доброго, я мог поверить во все эти сказки, в примитивные сказки древних греков, и я представил себе, что я маленький мышонок, который прогрызается сквозь огромную гору книг о Гомере, и каждая книга пищала своим голосом – не веришь, не веришь, а потом появлялись профессора и академики в чёрных шапочках, они смотрели на меня укоризненно, они грозили мне пальцем, покачивая головами, а потом откуда-то появлялся Геракл, огромный, усталый и задумчивый, он шёл, тяжело передвигая ноги, шкура льва тащиась по земле, из колчана за спиной виднелись оперения стрел, он тоже бросил на меня какой-то странный взгляд, как бы говоривший: «Не веришь ведь, а?», – а потом все вместе – профессора и академики, и Геракл, и ещё кто-то, кого я не мог угадать, – начинали кружить вокруг меня в странном хороводе, а из-за их спины, неизвестно откуда голос, похожий на голос говорящей птицы, выкрикивал один и тот

же вопрос, на который я почему-то никак не решался ответить. «Как тебя зовут? – спрашивал этот голос. – Как тебя зовут, как тебя зовут?...»

И тогда, не выдержав, я сказал:

– Меня зовут Мелезиген.

* * *

– Так как же тебя зовут? – спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблёскивали в темноте, как у кошки.

– Меня зовут Мелезиген.

– Странное имя, – сказал Геракл. – Мелезиген, Мелезиген... «рождённый на берегу Мелеса»...

– Ну да, – сказал мальчик, – Вот именно. На берегу Мелеса. Разве ты не знаешь такой реки? Это же в Смирне.

– В Смирне? Ну конечно, – сказал Геракл. – Конечно, знаю, Мелес. Мутная такая речушка. То-то я помню, что это у чёрта на куличках. Это же в Малой Азии, ну конечно. Как же, Смирна. У вас ещё там продаются такие вкусные засахаренные дыни, таких я не встречал больше нигде. И почти даром – просто удивительно. Да, хороший город, ничего не скажешь. Ты согласен?

– Да, – сказал мальчик. – Конечно, согласен.

Но ему вдруг стало обидно. Он и сам не мог понять, почему. Может быть, из-за дынь? Он смутно помнил огромные городские ворота с вечно сонными стражниками, толпы народа, снующие по широким улицам, базар, где они целыми днями пропадали, необъятный, известный во всём мире смирненский базар с бесконечными рядами, где продавались товары со всего света, где продавали виноград, дыни и яблоки, засахаренные фрукты – всё, что производила обильная земля этого города, базар с его палатками иноземных купцов, побывавших в далёких и неведомых странах, настолько далёких и неведомых, что в них не понимали даже греческого языка. Но более всего ему запомнилось море – то синее, то зелёное, то в белых прожилках, то в бурунах, а то совершенно спокойное и тихое, – и как хорошо было убежать из дома, выбежать из ворот, домчаться до пристани, где всё небо было закрыто мачтами кораблей, сбросить на бегу хитон и прыгнуть в прохладные, зелёные, ласковые волны, сделать гребок и другой, а потом раскрыть под водой глаза и вообразить себя огромной и сильной рыбой, от которой врассыпную разбегаются мелкие рыбёшки и рачки...

И мальчик повторил:

– Да. Да, конечно, согласен. Смирна – очень хороший город. Может быть, это потому, что он основан Тезеем?

– Кем, кем? – переспросил Геракл. Он и вправду последнее время стал хуже слышать, особенно после того, как кулак Эвритиона, того самого, что сторожил быков Гериона, попал ему прямо в ухо. Это был бесчестный удар, что и говорить, даже если учесть, что это вообще был единственный удар, который Эвритион успел ему нанести, и уже точно – последний удар в его жизни. Это вечная беда таких людей, как Эвритион. С этими высокорослыми силачами никогда нельзя договориться по-хорошему, их губит неправильное представление о собственной силе. Они слишком полагаются на свои длинные руки, чуть что – пускают их в ход, не задумываясь, можно ли просто так вот взять и двинуть человеку по уху. Решительная ошибка, решительная, но удар был действительно силен, в ухе у него до сих пор звенело, и он стал замечать, за собой неприятную привычку переспрашивать по несколько раз.

– Тезеем, – повторил мальчик. – Великим героем Тезеем.

Вот теперь он расслышал. Тезей! Как же, отличный парень.

– Тезея я знаю, – сказал Геракл. – Да. Отличный парень! А какой у него удар левой! Что-то о нём ничего не слышно в последнее время. Я-то, правда, был занят, сам знаешь. А что говорят?

– Ну что ты... – сказал мальчик. Он даже привстал от неожиданности. – Что ты, Геракл? Ну и ну! Ты и в самом деле давно не был дома. Да ведь по всей Греции только об этом и говорят. Нет, ты не шутишь? Он же украл эту девчонку, как её... Ну да, Елену, дочку спартанского царя Тиндарея. Да нет, ты не мог этого не слышать!

– Клянусь Зевсом, которого все считают моим отцом...

– Ну, это поистине чудеса! Не слышать о таких делах! У нас во дворце об этом говорят все – от управляющего до последней судомойки. А про Елену ты слыхал что-нибудь? Говорят, она такая красивая, Елена, что и словами не передать. Дошло это и до Тезея, а он, как ты знаешь, не женат. Слушай, а Пейритоя ты знаешь?

– Из Фессалии?

– Ну, видишь! У него, у Пейритоя, тоже не было жены, вернее, сначала она была, но потом умерла. Так что они оба были без жён, и тут они стали думать, на ком им жениться. Слушай, Геракл, а ты был женат?

– Был, – сказал Геракл.

– Это что, очень здорово?

– Да как тебе сказать... – меньше всего Гераклу хотелось говорить сейчас о своей семейной жизни. Ни говорить, ни вспоминать. – А что, это тебя интересует?

– Вот ещё, – сказал мальчик. – Придумаешь тоже. Я только хотел бы понять, зачем люди женятся. Только поэтому я и спросил, потому что мне это совершенно непонятно. Знаешь, мне кажется даже, что это всё просто зачем-то придумано. Ведь ни к чему хорошему такие вещи не приводят. Ну, взять эту историю с Еленой – красивая она, все говорят, – неужели этого достаточно, чтобы из-за неё разгорелась война?

– Как война? – сказал Геракл. – В каком смысле?

– В прямом, – сказал мальчик, – в самом прямом. Тезей и Пейритой украли Елену, а Тиндарей, её отец, не стал, конечно, такого терпеть, собрал всех своих спартанцев и двинул их на Афины.

– Это уже интересно, – сказал Геракл. – Спартанцы воевать умеют. Храбрые ребята.

– Да не боится Тезей никаких спартанцев! – горячо воскликнул мальчик. – Он не боится никого на свете. Только ведь его не было дома, понимаешь. Они кинули жребий – Тезей и Пейритой, – кому достанется в жёны эта девочка, Елена. И выпало – Тезею. Тогда Пейритой и говорит: «Ты мне, Тезей, друг или не друг?» Тот, конечно: «Друг». – «Ну, а если друг, поклянись, что не женишься на этой девочке, пока и мне не pomoжешь достать жену». Понимаешь? Тезей, натурально, поклялся. Тут Пейритой и говорит: «Пошли, украдём Персефону». Ты понял теперь?

Это Геракл услышал сразу.

– Персефону, – пробормотал он. – Жену Аида? Это уже слишком. Они что, с ума сошли, что ли?

– Я же спрашивал тебя, – сказал мальчик, – не зря же я спрашивал тебя, что это такое – женитьба и зачем все так стремятся к этому? Я-то считаю, что всё это чепуха. Это всё выдумали сами девчонки. Я думаю даже, что настоящий мужчина и вовсе не должен жениться. Но это я так думаю, а взрослые, похоже, думают иначе. В этом всё и дело. Может быть, тут есть что-то, чего я не знаю, а? Ну так я продолжаю: Тезей, сказал я, дал слово. А уж если мужчина дал слово... Нет, дело не только в этом. Тут ещё и другое. Я считаю, что самое главное в жизни – это дружба. А Пейритой был Тезею друг... И вот тут уже то, что он дал слово... Короче, тут они и пошли.

– Куда пошли? – не понял Геракл.

– Да в Тартар же, в том-то всё и дело. В подземное царство. Приходят и говорят Аиду – так, мол, и так. Пришли за твоей женой. Тот, как я понимаю, ужасно рассвирепел. Может быть, это и в самом деле нехорошо как-то – отдай и всё! То есть я бы просто отдал, но у взрослых другое дело. И вот Аид говорит им: «Вы вот здесь присядьте, а я схожу за Персефоной. Надо, – говорит, – и её ведь спросить, может, она не захочет. А если захочет – пусть идёт с вами». Они и присели.

– И...



– В том-то всё и дело. Нет, наверное, Аид действительно рассердился. Только они присели – и словно приклеились, словно приросли к скале... Э... ты куда, Геракл?...

Мальчик опять не заметил, пропустил мгновение, когда Геракл поднялся, – совсем как тогда, у реки. Только что он лежал на спине, раскинув руки, огромный, спокойный, безмятежный, такой большой и тяжёлый, что, казалось, нет такой силы, чтобы сдвинуть его с места, – когда он успел подняться, глаз не успел даже уловить; а он уже собирался: разбросал костёр, затоптал угли, залил водой пепелище, нагнулся и вышел из пещеры. Мальчик тоже выглянул. Сидя на корточках, Геракл протирал тетиву кусочком кожи. Протёр, смазал воском, снова протёр. И ещё раз. Поднялся, захватил тремя пальцами тетиву, потянул...

Раздался едва слышный скрип. Огромные рога подались, согнулись... Мальчику было видно, как напряглись мышцы спины.

– Геракл, – сказал он, – послушай...

Но Геракл снова не слышал. Он готовился, нет, он уже готов был идти, он смотрел куда-то вдаль, мысли его были уже не здесь. Нет, не здесь – они были уже далеко, они были далеко отсюда, там, где ждали его новые дела. Он едва не забыл о мальчике, глядевшем на него в немом отчаянии; он поправил на плечах старую львиную шкуру, взял дубину...

– Счастливого тебе пути, великий Геракл, – сказал мальчик сквозь слёзы. – Да будут благосклонны к тебе бессмертные боги. Возвращайся цел и невредим. Возвращайся поскорее.

Тут Геракл обернулся.

– Малыш, – сказал он, и голос его снова был глубоким и мягким. – Малыш Мелезиген. Прощай. Ты мне нравишься. Будь ты немного побольше, я взял бы тебя с собой. Жди, я скоро вернусь. Постарайся подрасти. Ну, я пошёл. Ты плачешь? Нет? Это правильно. Мужчины не должны плакать. Даже когда хочется. Ну, прощай ещё раз. Ты ведь сказал, что Тезей в Тартаре. А Цербер где? Тоже в Тартаре. Теперь ты понял? Мне надо спешить. Прощай и жди меня...

И вот он уже пошёл – повернулся и пошёл. Как он был огромен! Уже прошло много времени, а он всё был виден, всё не пропадал. И тут у мальчика сжало сердце, да так, что он думал – ещё мгновение, и он умрёт.

Неведомая сила сорвала его с места и бросила вслед уходящему герою. Он мчался что было сил, но пришлось пробежать, по крайней мере, тридцать стадий, пока он догнал Геракла.

– Я хотел спросить только, – говорил он, задыхаясь, – я только хотел спросить тебя, скажи, я не могу понять... Ты идёшь в Тартар, в царство мёртвых? Но ведь оттуда никто никогда не возвращался. Как же ты найдёшь туда дорогу?

– Малыш, – сказал Геракл. – Малыш Мелезиген, рождённый в Смирне на берегах Мелеса. Запомни, дружок, что я тебе скажу. Мир полон вещей, которых мы не знаем. Мир переполнен вещами, о которых мы не имеем никакого представления. Думаешь, самое трудное – это что-то сделать? Нет. Самое трудное – это понять, что ты должен делать. Никто не знает всего, кроме светлых богов. Наш с тобой удел – искать. Вот и я – буду искать.

– Но где... Где?

– Я же говорю тебе – не знаю. Для этого мне придётся немало поработать, но в конце концов всё образуется. Главное – это понять, что тебе нужно. Запомнил?

Он наклонился и добавил шёпотом:

– И знаешь, что я заметил? Когда человеку нужно – он начинает очень здорово соображать.

* * *

Я ничего не понимал. Мне было жарко, а ноги были как лёд. Я ничего не мог сообразить – где я и что со мной. Я открыл глаза и лежал так некоторое время совершенно неподвижно,

стараясь хоть что-нибудь понять, но, клянусь, ничего понять не мог. Даже не мог сообразить, сплю я или не сплю. У меня было ощущение, что со мною только что – секунду, мгновение назад – что-то происходило. А потом, в следующее мгновение, между мною и тем, что я только что видел, появилась стенка. Она была сначала такой тонкой и прозрачной, каким бывает лёд на только что подмёрзших лужах, но с невообразимой быстротой всё утолщалась и мутнела – и я не мог понять, сообразить, в каком я мире, не мог удержать в памяти того, что только что видел, говорил, помнил. Это длилось несколько секунд – моя борьба с тем, что уходило, скрывалось прямо на глазах, – пока я не понял, что я проиграл. Тогда я пошевелился – и тут же откуда-то слева, но откуда – я не видел, серый сумрак, который окружал меня со всех сторон, отозвался знакомым голосом: «Ну, как ты?»

Но я даже и голоса сначала не узнал. То есть я сразу понял, что знаю его, но кому он принадлежит, понял только тогда, когда сумрак расступился, а тот, кто спрашивал, сел возле меня. Это был Костя (голос был его) – вот только я не видел ничего – серая какая-то муть. Костя проступает через муть и спрашивает: «Ну, как ты?» – и я вижу даже не его самого, а силуэт, контур, и слышу голос: «Ну, как ты?»

Но всё равно ничего сообразить не могу. Почему сумрак? Почему он меня спрашивает? Сколько времени? Какой день? Что происходит? Почему я лежу? И почему так хочется пить? В глотке у меня было сухо, как в пустыне. По правде говоря, я едва шевелил языком, но самое забавное было то, что не успел я даже заикнуться об этом, о том, как хочется пить, – он, Костя то есть, тут же подал мне стакан – и не с водой, а с каким-то напитком, и я даже не выпил его. Нет, мне казалось, что я и ко рту его не успел поднести, как он уже был пустым, и только после третьего – а может быть, это был четвёртый или пятый стакан – я понял, что это такое было. Это был клюквенный морс, самый натуральный, и, честное слово, вкуснее я ничего в жизни не пил. И тут я понял, что происходит нечто необычное. Но только я успел приподняться – я просто хотел сесть и спросить Костю, что всё это значит, – меня уже стал разбирать интерес, и я дёрнулся, – как вдруг всё качнулось и поплыло – потолок ринулся вниз и тут же взмыл вверх. Это было, как на качелях, когда сильно раскачаешься, и у меня в груди что-то замерло – точь-в-точь как на качелях, я успел закрыть глаза – и тут всё кончилось. Нет, не всё. Что-то стало давить мне на грудь, и я подумал – правда, подумал: «Может быть, у меня летаргический сон и меня приняли за покойника?» Я слышал, что такие случаи бывали, – человек засыпал, а его принимали за покойника и хоронили. И я снова открыл глаза, и тут же Костино лицо стало проявляться из серой мглы – точь-в-точь как проявляется снимок, когда его положишь в проявитель, – вот ещё нет ничего, вот нет, вот... Потом нечто, а вот уже видно – и с каждым мигom всё виднее и виднее. Проявился. И тут я понял, что меня давило, что я принял было за могильную плиту. Это Костиная лапа придавила меня к постели. Вот что это было. Ну, понятно. Тут я говорю ему, Косте: «Убери, – говорю, – лапу, ты мне грудную клетку сломаешь». А он: «Лежи, лежи. Не дёргайся. Дай мне тебя на ноги поставить». Тут меня разобрал смех. Я понял, что произошло какое-то недоразумение, что ли, или разыгрывается спектакль, и говорю: «На ноги?» А он: «Не на руки же!» Он у нас остряк. Тут я ему говорю: «А кое-куда можно сходить или нет?» А он говорит: «Если можешь – потерпи, а нет – подожди, я тебя чем-нибудь укутаю. С тебя же пот льёт, словно ты три дня стоял под дождём». Я же вам говорю, что он остряк. Я решил ещё чуть-чуть полежать. «Может, – думал я, – сам пойму, в чём дело?» То, что я был весь в поту с головы до ног, – это я и сам чувствовал, только не мог понять, что к чему. И во рту было сухо, и ноги ледяные, но я не мог связать всё это воедино. Вы не верите? Я и сам бы не поверил, и не верил – тогда даже, когда Костя сказал, что я уже целые сутки валяюсь с температурой сорок. И что приезжала неотложка – я во всё это и не думал поверить. Но вот когда я встал – тут даже вернее будет сказать, когда я всё-таки попробовал встать и встал, – вот тогда-то я понял, что всё это не выдумка. Ноги у меня тряслись, они меня просто не держали. Я видел как-то в зоопарке новорождённого оленёнка – ноги у него тряслись, страшно

было смотреть. Олениха его облизывает, а он стоит весь мокрый, и ножки такие тоненькие, что хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как они обламываются. Но они не обломились – он стоял (ножки, как спички) и всю сосал. Ужасно славный оленёнок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.